

ПРО МАКСИМА, ИНВАЛИДА И ГОВОРУНА

Зенитчики еще не успели как следует окопаться, только развернули орудия и перенесли с полуторки ящики со снарядами. Максим рыл окопчик, безнадежно ковыряя лопаткой мерзлую землю. Друг Агафон со стороны с усмешкой смотрел за возней своего товарища:

— Макся, тебе так до дня победы не вырыть. Ты не долби, ты режь, оно лучше выходит.

— Не режется, тут вроде солонец, лопата вязнет.

Агафон взял у него инструмент, сделал несколько движений, согласился:

— Да, земляца попала тебе... Сам выбирал.

— Одно только думаю: хорошо, что не могилу копать, все-таки окопчик помельче.

— Не каркай! Переходи на мое место, я дивно вырыл, и грунт у меня податливей.

Максим вылез из неглубокой лунки, достал портсигар, полученный в подарок из посылки работниц тюменской овчинной фабрики. На алюминиевой крышке подержанной уже вещи красовалась точками

выбитая надпись: «На пахать от Косты». Мужики решили, что портигар сдал в посылку или демобилизованный по ранению, или солдат той мировой, потому что на обратной стороне коряво нацарапано: «Германский фронт». Закурили.

Только чуть зарилось. Ночь не отступала, и сизый сумрак неуютно обволакивал душу. Максим всякое время суток сравнивал со своим, сибирским, и не находил ничего похожего. Вот и этот рассвет был незнакомым и чужим.

— Рождество сегодня, — горько сказал Максим, вспомнив, как дома встречали это утро. — Пока не закрыли церкву, всей семьей ходили на службу. И отец, Павел Михайлович, и мама, и нянька Анна, и Никита, его убили ланись.

— Когда убили?

— В прошлом году, осенесь.

— Так и говори, а то — ланись. И осенью, а не осенесь, нерусь!

— Пошто нерусь, русский я.

— А почему говоришь так?

— У нас все так говорят. Я тоже не шибко грамотный. В младшую группу ходил зиму, учился, потом надо было в среднюю, а отец сказал: «Макся, ты не ходи в школу, в средней группе ребятишек будут кастрировать». Я и не пошел.

Агафон тихонько смеялся:

— Ты, Макся, за яйца свои пострадал. Мужик толковый, будь грамотешка — отирался бы где при штабе, не копал бы Россию.

— Не-е, мне в штабе не усидеть, я бы брякнул что-нибудь про начальство и поехал в штрафбат, как наш командир.

— Жалко мужика.

Новый командир батареи капитан Степура крикнул издалека:

— Не сидеть, окапываться!

Максим привычно загасил окурок, втоптал носком сапога в мерзлую землю. Агафон тоже встал:

— Переходи в мой окоп, вон у второго орудия.

Максим нехотя пошел, волоча винтовку и лопату.

Скоро должно было вставать солнце. Он сел в почти готовый окопчик и грустно смотрел на восток. Место появления светила обозначилось обширным сиянием, но цвета были не те, к которым он привык. Восход всегда притягивал его: и на весенней пашне, когда суровый отец поднимал чуть свет; и на раздольных лугах родных афонских сенокосов, потому что утренняя кошенина самая наилучшая для сена; и на жатве, пока не обдуло ночную прохладу, надо наострить серпы и поправить вчерашние спешные суслоны урожайных и крепких снопов. Таинственная сила самого жизнеутверждающего явления завораживала его, первое появление солнца было сигналом к новому дню.

Несколько крупных точек к явлению опередили солнечный луч, и Максим узнал самолеты. Гул появился чуть позже. Это бомбардировщики. Должны быть наши, но по очертаниям и особенностям звуков он понял, что противника. Похоже, отбомбились, домой идут. Высота приличная, и курс чуть в стороне от батареи. Над ними, как воробьи над коршуном, зависли истребители сопровождения.

— Воздух! — заорал капитан Степура, и бойцы переглянулись.

— Товарищ капитан, это не наш воздух, эропланы разве что над четвертой батареей пройдут, — спокойно уточнил старшина Моспанов.

— Отставить разговоры! Орудия к бою!

— Какой бой, нам их сроду не достать!

— Пуцай себе летят...

— Товарищ капитан, не надо их дразнить. Давайте пропустим, все равно не собьем, только себя обнаружим, — бубнил старшина.

— Это что за собрание!? Что значит — пропустим!? Я для того сюда поставлен, чтобы уничтожить самолеты противника! Орудия — к бою!

Максим подбежал к ящикам со снарядами.

— Каким стрелять будем?

— А хрен его знает! — ответил командир орудия сержант Мяличев. —

Их никаким не достать.

Капитан Степура отдавал команды зычным голосом, то и дело поднося к глазам бинокль. После команды «огонь!» зенитки вразнобой закашляли, выплевывая горячие гильзы. Максим видел разрывы, которые не могли даже напугать летчиков. Сидевший на радиции рядовой Пащенко вдруг встал и крикнул:

— Товарищ капитан, вас первый к аппарату!

Капитан побледнел, услышав отборный мат полковника, Максим присел на ящик после его команды прекратить огонь. Но было уже поздно. Два самолета выпали из строя и стали скатываться прямо на голову Максиму.

— Вот теперича действительно воздух, — хохотнул он и полез в окопчик Агафона.

Самолеты выбросили пять мелких бомб, непонятно почему не использованных на основном задании, и стали набирать высоту. Зенитки молчали. Капитан стоял, втянув голову в плечи. Старшина Моспанов свалил его в свой окоп. Бомбы разорвались дружно, осыпав землей и осколками все вокруг. Одна разнесла Агафона, попав прямо в обменянное с Максимом место. Еще одна повредила орудие. Осколок навывлет пробил живот капитану. Сержант Мяличев чуть дернулся на станине орудия и затих. Тишина наступила страшная. Максим вскочил и, кинувшись в сторону Агафона, упал, пробежав несколько метров. Воронку на месте своего окопа он успел увидеть, но сильная боль в ногах уронила на землю.

— У тебя же ступня пробита, едрена мать, — радист Пащенко присел на корточки и тупо смотрел на рваное отверстие в сапоге, из которого сочилась грязная кровь.

— Сымай сапог, нехрен сидеть сиднем.

Пащенко немного повозился и возразил:

— Не снять, резать придется.

— Сапог губить не позволю, сымай.

— Не позволит он! Тут дыра насквозь.

Максим с детства боялся собственной крови, и теперь, едва глянув, сомлел и повалился на бок. Пащенко разрезал голенище и, отбросив сапог, начал неумело делать перевязку.

— Капитана сразу осколком навывлет, так в страхе и помер. Ему полковник вломил, что он обнаружил батарею. Нас, говорит, для важного дела разместили. И Ендырева в клочья разорвало, с которым ты окопом сменялся. Толковый у тебя обмен получился.

Максиму было неловко, будто он виноват в гибели товарища. Пащенко приспособил к забинтованной ноге разрезанный сапог.

Артиллерийский обстрел начался внезапно, видно, сообщили летчики расположение батареи. Пащенко вместе с шофером полуторки, кото-

рая привезла снаряды, оттащили Максима к машине и затолкали в кузов. Он лежал на спине, подоснув под голову кусок брезента. Рана ныла, он с трудом поднял ногу, холодная кровь скатилась по штанине под задницу и под спину, боль чуть утихла.

Солнце уже встало и светило ему прямо в глаза. Такое яркое солнце! Он знал, что надо просыпаться, но какой-то мерзавчик внушал ему: «Поспи еще, мать разбудит». И действительно, мама встала на лестницу, черенком легоньких деревянных грабельцев нащупала в чердачной темноте его тщедушное тельце и легонько побеспокоила: «Вставай!» Максим очнулся, мамы не было, было раннее рождественское утро в украинской морозной степи, нехорошая тишина, нарушаемая стонами мужиков, кузов полуторки и терзающая боль в ноге. Кровь опять стекла по штанине, неприятно похолодив спину. Максим покричал, но никто не ответил. Он больше всего боялся страха, но ощущал только тоску. Если не найдут, то изойдет кровью и замерзнет. Найти могут только случайно, потому что сейчас не до разбитой батареи. Страшно не было, но хотелось плакать.

Его нашли действительно случайно в вечерних сумерках. Двое бойцов пытались завести полуторку, но не смогли, раненого Максима не сразу отодрали от деревянного кузова: набрякшая кровью шинель пристыла к доскам. Его вели и тащили долго, один боец предлагал бросить, но второй не согласился, так и доволокли до расположения.

Как попал в госпиталь, Максим не знал, очнулся от боли в раненой ноге, попросил пить. Солдат из старших возрастов в застиранном сером халате сказал, что после операции вода не полагается, и вытер его губы мокрым грязным полотенцем.

— У меня нога болит шибко, — сказал Максим. — Ранило меня.

Санитар засмеялся:

— Не может у тебя нога болеть, потому как ее нету.

Максим не сразу понял.

— Почему нету?

— Отрезали. Гангрена у тебя началась. Отпластнули по самое колено.

— Врешь! — Максим хотел было вскочить, но голову обнесло, и он опять плавал по деревенским старицам, ставил фитили и морды, вытрясал в лодку лобастых налимов, длинных щуругаек и плоских карасей. Все тот же мерзавчик подсказывал ему, что не надо бы смотреть во сне рыбу, это к болезни, но рыба просто перла в его снасти, и Максим ничего не мог с этим поделать.

Через день врач сказал, что отправляет его в тыловой госпиталь, потому что не уверен, покончено ли с заражением:

— До санпоезда доедешь, а там помереть не дадут, у тебя еще полметра в запасе.

— Каких полметра? — не понял Максим.

— Ноги до туловища! Простых вещей понять не могут!

Его сняли в Саратове, и в госпитале резали еще два раза, пытались сохранить хоть сколько-то конечности и опасаясь общего заражения. Учился ходить на костылях, падал, разбивал культу, плакал по ночам, тяжело задумался о жизни после случая с соседом по койке, веселым парнем с Волги, которому отрезали обе ноги под самый корень. Он шутил, что на обувь теперь тратиться не надо, что на танцы время терять не будет. Утром попросил ребят посадить его на подоконник. Максим тоже помогал. Парень сидел недолго и молча опрокинулся наружу с третьего этажа.

Максима никто в деревне не ждал, кроме матери. До войны он несколько раз женился, но все как-то не получалось. Отец поначалу ругался, потом попустился; Максим погуливал, пока не забрали на фронт. Теперь отгулял. Для деревенской работы не годен, другой не знает, и грамоты нет.

Деревня встретила его нерадостными новостями: схоронили от скоротечной болезни отца, Павла Михайловича, и старшую сестру Анну, няньку, как звал ее Максим. Брат Матвей в первый вечер не пришел, сказался больным, мама наскоро собрала стол, пришли демобилизованные раньше калеки Антон, Киприян, Федор Петрович. Выпили бражки.

— Мама, а про отца-то че не писали. И про няньку.

— А кто писатели-то, Макся, я немтая, а Матвей все по больницам.

— Так и ссытса?

— Да вроде проходит.

— Знамо, пузырь — он понюхачей самого Гитлера капут чувствует.

— Макся, при людях-то!

— А то люди не знают, что братец еще до первой немецкой артподготовки в штаны прудить начал. Эх, мать, а че бы мы делали, если б всем миром под себя мочиться стали, вплоть до товарища Сталина?

Вечером натопили баню, Максим неумело подставил под культую деревяшку и, не привязывая ремней, поковылял мыться. С непривычки сильным жаром охватило голову, пришлось спуститься на пол и приоткрыть дверь. Подложив под голову веник, он прилег на порожек, ловя свежий воздух через приоткрытую дверь. Кто-то закрыл собою узенький вход в предбанник, Максим поднял глаза: Матвей.

— Здорово, брат. С возвращеньцем.

— Здорово. Проходи, парся.

После бани Максим по праву старшего сидел на лавке в кутнем углу, это место отца. Лишний кусок штанины белых домашних кальсон он подогнул и привязал нянькиным пояском. Пустой стол, вот тут сидел Никита, тут нянька, тут отец.

— Жениться тебе придется, Макся, — сказал Матвей. — Я отделился, матери одной тяжело.

— Ага, прямо седни и начну, вот ветер стихнет.

— Ты смехучками-то не отделявайся, бабья полдеревни слободного, мужиков перебили.

— Мне жениться нельзя, я еще до войны сколь раз под венец ходил, да только на месяц и хватало. Терпеть ненавижу, как бабы начинают руководить. А теперь и вовсе, на чужой крови живу.

— Пошто? — испугался Матвей.

— Своя вся истекла, мне немецкую лили, сам на каждом флаконе видел: фамилия Донор написана. Так что не до женитьбы, хоть бы до лета дотянуть.

— Ох, и болтун ты, Макся, каким был, таким и остался, — вздохнула мать.

Исполнительницей от сельсовета прибежала невысокая молоденькая женщина, вошла в избу, поздоровалась, насухо вытерла влажные от осенней слякоти калоши на валенках.

— Ты Максим Онисимов будешь? Распишись вот в извещении, что завтра явиться в район на комиссию.

Максим расписался коряво.

— А на чем являться?

— Подвода пойдет, вас тут с десятком изувеченных.

— На вожжах не ты ли сидеть будешь?

— Нет, — хохотнула женщина. — Иван Кириков, он хоть и безрукий, но с такой командой управится.

— Чья она, мама? Вроде как не афонская?

— С Горы приехала, замуж туда выходила, да мужика убили, вернулась с двумя ребятишками.

— А пошто к нам, родня тут какая?

— Седьмая вода на киселе. Бьется бабенка, отец родной где-то в Почечье погуливает, всю войну просидел в каталашке, теперь вроде завхозом в больнице, так сказывают. А ты не глаз ли положил?

Максим ступевался:

— Да так, хорошая бабенка, веселая.

Мать в кути забрякала ухватами:

— Ты с ума не сойди, у ей двое, ты будешь третий, тоже дите, только что под себя не ходишь. Вот веселуха-то будет!

— Ладно, собери мне что в дорогу.

Рано утром у колхозного правления собрались все инвалиды, которым следовало явиться в районную больницу. Курили, подсмеивались друг над другом.

— Григорья с Эмилом в передок посадим, у их обеих ног нету, Максю с Васью Макаровым по бокам, посередке Ванька Киричонок.

— Ему непременно надо посередке, потому как вздремнет со хмеля и под фургончик свалится, тогда и ноги может лишиться дополнительно.

— Ты меня не трожь! — витийствовал Кириков, маленький шустрый мужичок без левой руки, но ловко запрягавший пару лошадей. — А то ведь я могу и поперед из района рвануть, вот тут поползете до дому, как фриц из Сталинградского капкана.

Ванька руки лишился под Сталинградом, в деревне уже обжился; после признания Сталинградской битвы поворотным сражением во всей войне он особенно оживился, будто сам лично замыкал кольцо и брал фельдмаршалов в плен. Бывший хороший тракторист, отлученный от любимой «колесянки», он долго привыкал к лошадям, смирился, но стал попивать. В деревне, где выпивали только по праздникам, мужик навеселе среди недели скоро стал посмешищем; за ним, тридцатилетним, крепко привязалось обращение и старого и малого: Ванька Кирик, Киричонок. Деревня, у нее свои законы.

Комиссия в районной больнице с участием офицера военкомата, щеголя-капитана, проходила быстро. Максим только кивал в ответ на самые простые вопросы, но когда пожилая женщина из собеса спросила, где он работает, Максим растерялся:

— Был в колхозе, пока нет работы. Да я и на ногах-то плохо стою.

— На ноге, — уточнил хирург, — вторая нога у вас почти в порядке.

— На ней отсутствует икрная мышца, — приподняла очки терапевт.

— Ну, не совсем, — возразил хирург. И Максиму: — Ну-ка, пройди-тесь.

Максим тяжело встал с табуретки, установил на крашеном полу деревяшку и сделал несколько шагов без костыля. Пересилив боль, он улыбнулся:

— Вот, помаленьку хожу.

— Можно дать третью группу, — повернувшись в их сторону, произнес офицер военкомата, до этого лепетавший с медсестрой регистрации.

— Он нетрудоспособен, Роман Дмитриевич, я за вторую.

— Нетрудоспособен, а, по моим сведениям, жениться собрался.

Максим хохотнул:

— Так оно, товарищ капитан, что для женитьбы необходимо, немец мне милостиво оставил, спасибо ему.

— Награды есть? — спросил капитан.

— Медалешки, — равнодушно ответил Максим.

— Надо было воевать лучше, были бы ордена, — посоветовал капитан.

— Вот ты точно роты водил в рукопашную атаку! — резко выпалил Максим. — А я на продскладе винной бочкой себе ногу отдал! Да ежели бы я херово воевал, ты бы сейчас в хромовые сапожки не заглядывал, как в зеркальце, а у бюргера свиной пас!

— Товарищ инвалид! Ведите себя! — капитан вскочил.

Максим продолжал сидеть, его била дрожь, пот залил глаза:

— Я пока еще только калека, инвалидом вы меня признавать не хотите, потому что за это копейку платить надо.

Он встал и, тяжело припадая на деревяшку, вышел из кабинета, оставив на крашеном полу струйку яркой крови из лопнувшего шва на культе.

После обеда процедура закончилась, всем дали третью группу инвалидности, вторую только тем, у кого не было обеих ног. Но самое непонятное было в строгом наказе главного врача в апреле всем прибыть на перекомиссию.

— Правда, мужики, чо до апреля изменится?

— Какой ты бестолковый, Киричонок, и отец твой такой же был. —

Максим уже успокоился и не мог упустить возможности подначить. — В апреле весна, все живое в рост прет, ты же знаешь, что ни корову, ни бабу в это время не удержишь, щепа на щепу... Вот и возникли у советской власти опасения, что рука у тебя вырастет, а ты, сволочь подкулачная, сокроешь сей факт от любимого государства и будешь продолжать огребать ежемесячно свои полторы сотни.

Василий Федорович, родственник и грамотный человек, шепнул Максиму:

— Ты придержи язык, а то не посмотрят, что инвалид, подметут.

— Зачем я им? Кормить задаром.

Василий засмеялся:

— Ага, пельмени для тебя всем комсоставом будут лепить. Да подведут к ближайшей стенке и шлепнут, а потом протоколом тройки оформят. Эх ты, фронтовичок!

В субботу, напарившись в бане, Максим помыл и выскоблил ножом деревяшку, надел чистую рубаху и сказал матери:

— Пойду к Ивану Лаврентьевичу в карты поиграть.

А сам мимо Иванова дома подался в другую сторону, где жила Мария Горлова с ребятишками. Осторожно с мужиками поговорил, не хаживает ли к ней кто — сказали, что нет, не хаживает. Подошел к избенке, выдернул верхнюю жердинку в воротцах, через нижнюю с трудом переволол деревяшку, лампа в простенке горит, но дверь уже заперта. Неловко погромел щеколдой, из избы кто-то вышел.

— Хозяйка, открывай, а то ветер седни холодный.

— Не открою, не признаю я.

— Максим Онисимов, извещение ты мне приносила.

— Ну, дак я тебе его отдала. Какой спрос?

— Беда с бабой! К тебе я пришел, пусти хоть на минуту, култышку перевяжу, а то не дойти до дома.

Крючок сбрыкал, отпустив дверь. Максим следом за хозяйкой вошел в избу. Чистенько прибрано, хоть и бедно. Русская печка в треть избу, стол, три табуретки, койка. С полатей свесились две стриженные головы, Володька и Генка, он уже знал их имена. В избушке этой раньше жили Заварухины, Максим тут бывал. Мария прошла в кутный угол, села на салавочек.

— Бери табуретку, переобувайся.

Максим снял деревяшку, перемотнул портянку, крови не было. Отложил протез в сторону.

— Посижу маленько. Ты пореченская родом?

— Там родилась, потом здесь в няньках жила, на семнадцатом году вышла за парня из Маслянской МТС, он тут хлеб молотил. Вот родили двоих, его забрали и под Сталинградом убили, деваться некуда, подалась к своим, хоть и небольшая родня, но не бросили. Живу вот.

— В колхозе робишь?

— В колхозе.

— Тяжело одной-то?

Она вздохнула:

— Всем тяжело теперь. Тебе вот тоже не сладко.

— Да я привыкну, мозоли набью, и тогда хоть бегом.

Оба молчали, ребятишки на полатах тихонько посапывали.

— Мария, давай сойдемся с тобой. Я работать начну, пенсию вот назначили, полегче будет.

— Нет, на двоих детей никто ко мне не пойдет, и ты тоже так, баловство одно. Не стоит на разговоры.

Максим приобиделся:

— Отчего это вдруг баловство? Мне тридцать пять, куда еще? Хватит, набаловался.

— Сторяча это ты, Максим; посмотри, сколько девок осталось без женихов, а вдов молоденьких, бездетных! Своих народишь, зачем тебе чужие, ну, ты сам подумай!

— А мы с тобой разве не родим? — осмелел Максим. — Выправится жизнь, и дети вырастут. Другое дело, если брезгуешь, не подхожу тебе, так и скажи.

— Господи! — Мария заплакала. — Я пять лет уж мужского разговора душевного не слышала. Не тревожь ты меня, Богом прошу. Иди домой, дай мне срок подумать.

Максим озаботился:

— Ты, если обо мне справки наводить, то не теряй время, я тебе сам во всем признаюсь. Зло не употребляю, табак курю, приматериваюсь, вредным бываю. Хуже уже никто не скажет.

— Иди до завтра, я хоть ребятишкам все обскажу, большие ведь. У тебя нигде нет нагулянных?

— Да не было до войны, и сейчас вроде похожих не встречал. — Он пристегнул деревяшку, надернул фуфайку, тяжело встал.

— Иди, я посвечу в сенках, там одна плаха скачет.

— Переберу пол, это я в первый же день.

У самых воротец Мария спросила:

— Максим, а ведь ты на меня сразу посмотрел, когда я с исполнительным к вам прибежала, правда?

— Как есть, правда. Я и матери сказал.

— Ладно, мне утра вставать рано, иди тихонько.

Мать не одобряла решение Максима перейти к Марии, да и Матвей пытался вмешаться, в основном напирая на ребятишек. Большие уже, семь и девять, с такими и здоровый мужик горя хватит. Максим отмалчивался, собрал в армейский вещмешок кальсоны, рубахи, гимнастерку. Поздним ноябрьским вечером ушел в избушку Марии.

Когда ребятишки на полатях успокоились, она ушла за занавеску в кутный угол:

— Ложись, я потом лампу погашу.

Ночь высвечивала худую фигуру незнакомого мужчины. Она присела перед койкой.

— Ты культи моей бояться не будешь?

— Привыкну. Мне к стенке или с краю?

— Ложись к стене.

Он неловко, неумело обнял ее открытые плечи. Кто-то из ребятишек заворочался и забормотал на полатях. Они испуганно притихли, Мария тихонько шептала ему в ухо:

— Пускай они улягутся, а ты обними меня крепко, чтоб дух захватило.

В ноябре ночи долгие, да ребятишкам вставать в школу. Поочередно спрыгнув с полатей и сбегав на улицу, они наскоро умылись под рукомойником. Максим лежал на койке, Мария уже сварила пластанку: жиденький суп с картошкой, нарезанной пластиками, положила с обеих сторон стола по куску хлеба.

Генка первым подошел к Максиму:

— Мне тебя тятей звать или папкой?

Максим стушевался:

— Мать, как лучше?

— Ты отец, ты и решай, — строго ответила Мария.

— Зови папкой. Я своего тятей звал, тоже ничего.

— И я буду папкой тоже, — добавил Володя.

— Ешьте и в школу, — скомандовала мать.

Проводив детей, она села на койку и обняла Максима.

— Я седни с работы отпросилась, если не передумал, сходим в сельсовет.

— Мне и передумать-то некогда было. Успеем еще, день большой, ложись ко мне.

В тот же день в сельском совете их записали мужем и женой. Деревня дня два обсуждала новость, пока не случилась какая-то другая.

БРАТОВЬЯ

Когда Максиму сказали, что родной брат его Матвей Павлович сильно занемог и даже может помереть, он опешил, с мысли сбился: ведь вчера еще сидели на бревнышках у дома и вспоминали молодость, Матвей даже чересчур веселый был, все над Максимом шпакурил, выводил из себя.

— Скажи, Махся, ты с Нюркой Маленькой спал?

— Ак нюшь! И с Нюркой спал, и с сестрой ее Марфой.

— А когда? Ну-ка, вспомни, в каком году это было?

Максим занервничал, он не любил, когда его подначивали:

— «В каком году!» Да я разве всех упомяну. Ну, до войны.

— Врешь. Я в войну к ей похаживал, интересовался про тебя, она отперлась, говорит, и рядом не сидел.

Максим опять психанул:

— Твою мать! Да я ее как сейчас помню, я же азартный был до фронта, а она тюхтя, гундит — ни хрена не понять. И пониже пупка у нее большая бородавка, ты себе ничего не натер?

Мужики хохотали, поддерживая Максима, его доводы оказались основательными, Матвей как-то про бородавку не вспомнил.

И вот на тебе, лежит без памяти; баба говорит: ночью забухтел не понять чего, вскрикнул и кинулся с кровати, прямо на пол упал, пена со рта. Сбегали за медичкой, она уколов наставила, утром машину директор совхоза дал, загрузили мужика как мешок отходов, так без ума и повезли.

Максим сидел на тех же бревнышках, что и вчера, майское солнце согревало, он отстегнул деревяшку, которую носил вместо протеза, привезенного из Омска — уж больно тяжелый и неловкий сделали ему протез. Максим через год ездил в Омск на примерку в протезную мастерскую только потому, что дорогу ему сельсовет оплачивал, а он к другу своему фронтовому заезжал, вспоминали, выпивали и плакали о молодости и друзьях. Протезов у него в казенке висело штук шесть, а носил самодельный, выстроганный из березы. С торца приколачивал кусок грубой резины, чтобы не скользить, деревяшка оставляла след что на снежной дороге, что на грунтовой, потому сынишка по заданию матери всегда легко его находил, если мать подозревала, что Максим где-то остаканился.

Они с Матвеем хоть и братовья, но не шибко роднились; Максим на восемь лет старше, до войны много раз женился, да все не впрок. Первую свадьбу сыграли по-настоящему, правда, без венчания, к тому времени церковь уже прикрыли, а попа отправили на Урал лес пилить, но отец Павел Михайлович благословил, невесту принял. Только Макся на первой же неделе заявил молодухе, что жить с ней не будет, мол, не рассчитывай, а сам на вечерки стал похаживать; после ужина, бывало, скажет:

— Пойду к Ивану Лаврентьевичу в карты поиграть.

И утянется, до первых петухов прогостюет, потом явится. Отец как-то и встретил его:

— Ты где, сукин ты сын, шлялся? У тебя жена или кто? И чтоб я больше не слышал, что она ночью зубами от горя скричат! — Да и вытянул женатика широким сыромятным ремнем так, что рубаха к телу прикипела; Максим взревел, выскочила нянька Анна, старшая сестра, запричитала над кровью, а просеченную рубаху снять не может, пришлось самогоноккой отмачивать, заодно и пострадавшему налила стаканчик.

Потом еще пытался женой обзавестись, да, видно, не судьба: одна сама ушла, другую проводил, так что на фронт холостячком отправился, это на четвертом-то десятке.

А Матвей дома остался, хотя его год призвали сразу: болезнь у него приключилась какая-то, не то ноги отнимались, не то мочился неудержимо, Макся так и не понял, когда вернулся из Саратовского госпиталя без ноги уже после победы. Матвей жил самостоятельно семьей, работал в колхозе на завидной должности объездчика, соблюдал колхозную собственность, чтобы мужик где лишний прокос для свой коровки не сделал,

чтобы баба колосков в поле не привнесла, чтобы ребятишки не мяли хлеба, когда бродили по первым от деревни лескам в поисках сорочьих гнезд, саранок и пучек.

Максиму определили третью группу инвалидности, она называлась рабочей, потому зимой он ходил за овечками, а с весны до глубокой осени ночами сторожил оставленную в поле колхозную технику, чтобы кто не побаловался. При нем была лошадка с ходочком, как и у брательника, но с братом совет не брал, а когда мать померла, и вовсе чужими стали.

За Максимом закрепилось прозвище «Родной», в деревне редко кто без клички живет, Максим тоже остер на язык, многих наградил кличками, да и сам не избежал. Частушку матерную про него пели; Максим иногда с юмором воспринимал, а однажды братец исполнил — едва его отобрали, за горло ухватил с обиды, мог и не отпустить.

Вот Пашку Лукина он перекрестил, прилипла кличка, как новое имя. Дело было в выборы, выбора́, как в деревне говорят, большой праздник, в клубе торговля сладостями и колбасой, к тому времени стали уже пиво бочковое завозить, вовсе колготня. Кто «отдал свой голос», отоваривались в очередь и садились в зале на скамейки вдоль стен, встречали входящих, обсуждали. На стенах портреты висят, члены и кандидаты, Ворошилов тоже, из-за медалей лица не видать. Пришел голосовать и Павел Лукин, механизатор, росточком мал, а до работы жадный, когда целину осваивали, месяцами в тракторе жил, все пахал, дали ему за это аж две медали, одну «За освоение», другую «За доблесть». Паша на выбора́ явился в пиджаке с медалями, да еще значки ГТО и ДОСААФ нацепил. Макся тут же сидел, сказали, что то ли концерт будет, то ли комедию какую покажут. Когда Паша вошел в зал, Макся аж подскочил:

— Ты гляди, ну чисто Ворошилов Пашка-то!

Все, с тех пор спроси Лукина, не каждый скажет, а Ворошилов — пожалуйста, это Пашка. Пашка не обижался, даже помогал Максиму крышу на избе дерном перекрыть. Давно это было. Максим тяжело вздохнул.

Вон Манаэль идет, с утренней разрядки в конторе совхоза, инженер. Максим хоть и пострадал на фронте, но к немцам относился без обиды: и старый Яков Кауц, и школьный учитель безногий после трудармии Эмиль, и сосед Эммануил Григорьевич, по-уличному Манаэль, были почти товарищи, и по рюмке доводилось поднимать. Манаэля он сильно уважал: вот безграмотный совсем, а любую машину соберет и отрегулирует. Когда Максиму первую инвалидную мотоколяску дали, что-то случилось, скорости перестали включаться. Манаэль велел прикатить к мастерской поломку, а вечером на ней приехал, едва не раздавив, потому что весу в нем было не меньше восьми пудов, и показал Максиму, что вот этим рычагом надо включать и выключать, а скоростей сколь вперед, столь и назад. Смех, конечно, но Максим помнил.

— Доброе здоровье, Максим Павлович!

— Здорово, Манаэль Григорьевич!

— Что с братом случилось?

— Не знаю. Пал с кровати и память отлетела. Не от того, что пал, наверно, как думаешь?

— Да уж не от того, понятно. Поедешь проведовать?

— Позжа, потом, дай оклемаься, а сейчас лежит как чурка, кого около его делать?

— Макся, а если помрет?

— Ну, стало быть, ты жебеш. Да нет, отойдет, не израненный, не избитый, на добрых кормах всю жизнь. Да и моложе меня на восемь годов, он еще до пенсии не дожил.

Эммануил Григорьевич присел на бревно:

— Максим Павлович, а ты смерти боишься?

Максим хохотнул:

— Я только увижу, что она по нашей улице идет, деревяшку надерну и на огороды, и лягой прямо на Голую Гриву, там спрячусь у тетки Апасины.

— С Геннадием помирились?

— Не буду, и чтобы не рисовался в наших краях, а то пришибу.

— Так обидно?

— Ак нюшь, какую статью подвел, засранец!

На Троицу, в престольный праздник, после поминок на кладбище собрались за столом у двоюродного брата Владимира Прокопьевича, совхозного бухгалтера, считай, все свои: Максим, Матвей, Иван Лаврентьевич, Паша Менделев, все с бабами, и Генка, он с Валентиной, сестрой покойной жены Максима, живет, тоже тут. Генка — неловкий парень, по пьянке всякую чушь несет, и вот после третьего стакана стал он разоблачать Максима, что ногу ему не в бою оторвало, а пробило шальной пулей, потому что он ее из окопа высунул, воевать не хотел. Можно было и пропустить, а Максим помушнел, схватил граненый стакан со стола и метнул в Генку. Тот увернулся, это его и спасло, стакан попал в простенок и рассыпался в мелкую крошку. Максим еще что-то сгреб, но на руке повисли, потом его вытолкали и увели домой.

— Да я на собственной крови примерз к кузову, в полуторку меня забросили после ранения, а там бой, не до меня, а как бой ушел, и все, пропадай. Ладно, что похоронная команда проходила, постонал, двое вернулись, видят, что кровь льдом взялась, один другому говорит: «Оставь его, все равно пропадет». А второй совестливый оказался: «Нельзя», — говорит. — Седни я брошу, завтра меня кинут». И тащили меня километра два.

Эммануил встал:

— Пойду позавтракаю, и в поле, пшеницу начинаем сеять.

С Матвеем они еще один раз сцепились, из-за травы. Максим каждое утро, возвращаясь с дежурства, подкашивал свежей травы как бы для лошади, но получалась пара хороших навильников: и корове хватало, и теленку. Вот с этой поклажей и остановил Максима колхозный объездчик и учетчик Матвей Павлович:

— Ты, Макся, дуру не гони, каженный день возишь по центнеру, на всю зиму запас. Это все, — он указал на траву в телеге, — выбросишь телятам на базе, я прослежу.

Максим аж подскочил:

— А вот это ты не видел?! — Он выбросил вперед мослатый кукиш. — Ишь, угодник колхозный, начальству двойной тракторной тягой опять по зароду разнотравья отпустишь, а мне свою скотину шумихой да осокой кормить? Хрен тебе и твоим телятам, все равно они задрищутся.

Матвей метался верхом на кауром мерине, норовя выдернуть Максима из телеги, потом соскочил с лошади и они сцепились. Максим поцарапал брату лицо, Матвей несколько раз ударил брательника кнутом. Максим отбивался сидя, крыл матом:

— Бей, твою мать, бей на убой, что фашисты не добились. Ты всю войну в бутылочку ссал, дак я тебя сейчас кровью умою.

Матвей вовремя одумался, вскочил на коня, отскочил в сторону:

— Максим, не лезь на рожон, сгрузи, как сказал, а нет — посажу.

— За два навильника?

— Колхозная трава. Посажу, есть такой закон.

Максим согласно кивнул:

— У вас на всякого человека статья найдется, это известно. А траву привезу домой, и не вздумай, брательник, с понятиями придти, литовкой всех перережу, во мне кровь чужая, так что за себя не отвечаю.

На том разошлись, но Матвей все же написал жалобу, бригадир Иван Моряк приезжал, посмотрел, пожалел Максима:

— Матвей в партию вступил, слышал? Хочет жить по правде. Ты его не зли, времена хоть и переменились, но можешь сбрыкать за разбазаривание общественной собственности.

— Да поди не посадят меня, Иван Васильевич, я же калека, робить не могу, даром кормить будут.

— Ага, губу ты раскатил... Послушай меня, уймись.

Максим унялся, но с братом долго не разговаривал, до беды. После войны он женился, взял молодую бабенку с двумя ребятишками, все его отговаривали: зачем тебе такая обуза, вон сколько девок без женихов, сколько вдов одиноких, бери — не хочу. А он стал к Марии похаживать, и сам удивлялся: все глянется, и в избушке порядочек, и работающая в колхозе, и с виду хоть и невелика ростом, но ладная. Сошлись, в сельсовете оформились, парнишку она родила, но только десять годков и пожили, свернула ее нехорошая болезнь, вьюжным мартовским днем свезли на кладбище. Матвей сам пришел, помогал гроб делать и могилу долбить. Без слов помирились, горе сводит.

Опять Максим начал перебирать, за два года не пятерых ли баб приводил, только ничего не получалось, отвозил обратно. Потом присоветовали ему в соседней деревне бабочку: бездетная, покладистая. Съездил, ее с сестрой на смотрины привез, сговорились. Парнишка всех мамами звал, а тут не может себя перебороть, месяца три, наверно, мучился, пока назвал. Потом легче пошло, привязался к женщине и она к нему, своих-то никогда не было. Через год загулял Максим, приехала какая-то краля, а он быка в заготкот сдал, деньжонки есть, три ночи дома не ночевал. Сынок явился в ту избу и сказал, что уходит он вместе с мамой в ее деревню. Максим заплакал и пришел домой, с тех пор жили более-менее...

Опять про Матвея думка, какая семья была: отец Павел Михайлович, старший брат Никита, нянька Анна, мама Зоя Степановна, да они двое. Бывало, до колхозов, любую работу ломали, отец никому не давал покоя и сам стоя спал. Сенов ставили по стогу на голову, а коров держали восемь, лошадей тоже восемь, все с приплодом, овечек никто не считал. Зато зимой благодать, глызы почистил в загоне, сена напихал в кормушки, на Гавняшку коров с молодынком проводил на водопой, взрослых лошадей в поводу сводил, молодых опасно отпускать, в бочке воду привозили — и свободен. Бабы шерсть теребят, прядут или вяжут что, а мужики с осени сено возят, по теплу к посевной готовятся.

Макся и восстание помнит против советской власти, когда коммунистов и сочувствующих на пешни надевали, а потом восставших мужиков расстреливали и ссылали навечно. И как Колчак шел, тоже помнит; у них в доме двое офицеров стояли, одному новые сапоги хромовые сшили, он их на стенку повесил, Максим налюбоваться не мог. Когда красные пошли, офицеры на коней — и на край деревни, к церкви. Максим думал:

ну, все, отступят белые, а сапоги ему достанутся. Нет, взмокший офицер успел заскочить и сорвать со стенки хромачи. Максим таких никогда не нашивал.

Когда красные пришли, вечером подъехал верхом солдат, кричит: — Хозяйка, молочка криночку не продашь?

Мать сунула Максимке маленького Матвейку, вынесла большую кринку свежего молока. Солдат деньги дает, а она отказывается.

— Деньги примите, — сказал солдатик, как учили. — И запомните, что советская власть даром у народа ничего не берет.

Максим хмыкнул; он того солдатика всю жизнь вспоминал: и когда налогами обложили, и когда в колхоз загоняли, и как пенсию ему назначили за отрезанную ногу, что только и можно было один сапог купить на оставшуюся.

После коллективизации хозяйство упало, от высылки Савелий Степанович, материн брат, спас, он в активе был и первым председателем в колхозе. Война потом подмела все: отец умер, нянька Анна тоже, Никиту убили, Максим калека, один Матвей был матери на радость. Дом срубил хороший, ребятишек нарожал, мать почитал; не то, что Максим, она ему женитьбы на вдове с сиротами забыть не могла.

Он сидел на бревнышке и прутиком чертил на песке, редкие люди проходили мимо, тихонько здоровались, непривычно тихо им отвечал, без прибауток, без усмешек обычных. Больно и тоскливо было на душе, он почувствовал одиночество: вот двое их от всей породы осталось на свете, а понятия, что одна кровь, так и не усвоили. Нет, надо поехать к Матвею, надо, братовья ведь.

Иван Моряк остановил свои дрожжи посреди дороги:

— Максим, убрался Матвей Павлович, только что позвонили из больницы. Я поеду в столярку, гроб закажу, а ты дойди до его бабы, скажи, пусть одежду готовят.

Максим дотянулся до деревяшки и долго приспособливал ремень, глаза застило, слезы катились прямо на рубаху, он неумело стряхивал их, неожиданно подумав, что не плакал очень и очень давно.

НЮХАЧ

— Ленка-то Безбородихина опять аборт сделала. — Михаил Прохорович бросил на стол пучок свежего зеленого лука, только что с грядки: ходил по заданию супруги Галины Ивановны, ей надо для заправки супчика на завтрак.

— С чего ты взял? Доболташь вот языком, привяжут, присудят моральный убыток, дак будешь знать. — Галина Ивановна толкнула на газовую плиту сковородку с добрым куском топленого сала и принялась крошить лук.

— Я что, слепой, что ли? Глянь в окошко, вон сидит на бревнышке, наохлалилась. — Михаил Прохорович протиснулся за стол, пожевал перышко лука.

— С чегой-то она наохлалилась бы? — Галина Ивановна все-таки откинула занавеску. — Ну, сидит и сидит. Да и не хаживал к ней никто будто. Болташь, что и сам не знаешь.

Михаил Прохорович спорить не стал, ему все равно, что там творится с соседкой Ленкой. Девка она молодая, в прошлом году школу окончила, да не всю, а только сколько-то классов, последний звонок отпраздновали —

и пропала Ленка, не появилась дома. Мать ее, Евдинья Безбородихина, не хлопотала и в милицию не ездила, потому что какая-то Ленкина подружка приезжала из райцентра и сказала ей, что Ленка по большой любви уехала с дальнбойщиком, познакомилась, пока автобус у поста ГАИ ждали в свою маленькую деревеньку Чесночки. С месяц, наверно, путешествовала Ленка, вернулась ночью, сильный скандал был в домишке, только Безбородиха ничего не могла сделать, Ленка так ей и сказала: «Не твое, мамаша, дело...» Никто, конечно, таких слов не слышал, это Михаил Прохорович потом так емко выразился, но сплетки по деревне гуляли не славные, к тому же ближе к осени слегла Ленка в больницу на одну ночь. Это потом дочь Татьяна сказала, она на «скорой» ездит медсестрой, два раза в неделю посещает родителей с мужем на «москвиче» за каким-нибудь пропитанием. Михаил Прохорович вроде никому не сказывал про новость, но деревня все равно узнала, зашептались и захихикали. Евдинья тогда крепко возмутилась, страшала, что в суд подаст, если кто про ее Ленку нехорошее брякнет, так и расценила, что самоходную косилку купит на высуженные деньги да прицепные грабли к ней, ей как раз в хозяйстве только граблей и не хватало. Михаил Прохорович даже смеяться не стал над ее глупостью, сказал только, что он человек довольно подержанный, но, как мужик все-таки, за потасканное Ленкино достоинство и простых деревянных грабельцев не дал бы. Евдинья эти слова передала, и она не раз кричала через дорогу, что выведет этого пустобреха на чистую воду.

И с супругой своей Михаил Прохорович вчера рассорился основательно. Он в прошлой жизни, то есть при социализме, когда в совхозе работал, плотником был, даже столяром, в мастерской оконные рамы вязал и филенчатые двери сколачивал, инструмент разный заставлял прораба выписывать, специалистом был знатным, для районных начальников заказы исполнял.

Званием плотника и столяра Михаил Прохорович дорожил, над людьми, считающими это ремесло простым и пустячным, откровенно издевался, часто повторял нехитрую притчу: «Пришли к хозяину два мужика плотническое дело исполнять наниматься, тот и спрашивает: «А что вы, ребята, можете?» — «Да все!» — отвечают. «А конкретно — что?» — не унимался хозяин. «Можем жерди хомячить и столбы хорохорить». — «Добре. А лестницу, к примеру, можете сколотить?». Тут мужики и упали духом: «Вот что не можем, то не можем!» Немудреная история, но помогла Михаилу Прохоровичу отстаивать высоту профессии.

А как на пенсию вышел, в избушке на ограде верстачок организовал, пилил и строгал, но все впустую, так заготовки годами и лежали на стеллажах. Супруга его не выносила эти занятия, ворчала и грозилась подпалить всю мастерскую, от которой никакого толку нет. Михаил Прохорович понимал бесполезность своих занятий, но душа не лежала работать на заказ, вот попилил-построгал — на душе полегчало, он и доволен, а баба поскрипит и тут же сядет, он на это внимания не обращал. Но вчера она его вывела из терпения.

Михаил Прохорович у верстачка прикидывал, как ему красиво обстрогать брусок и превратить его в восьмигранник, больно хотелось увидеть такую вещицу, примерить, как она смотрелась бы ножкой стула или стоячком в серванте. Хорошо бы смотрелась, если пустить по ребрам граней неглубокие насечки да густо проолифить дерево, предварительно отшлифовав и высушив. Он вздрогнул даже от неожиданного резкого голоса жены.

— Вот скажи мне, Михаил, и сколько это будет продолжаться, и когда ты перестанешь прятаться в свою забегаловку? Ну, чисто ребенок, ей-богу, крутит и вертит свои деревяшки! Вот выйди, посмотри, что добрые люди делают, пока ты в игрушки играешь! Иди, погляди!

Михаил Прохорович отложил брусок, нехотя вышел во двор. Галина Ивановна уже стояла у высокого тына, разделявшего их и соседский огороды, и кивала ему на огуречник Якова Андреевича. С Яшкой Кауцом они выросли вместе, его в первый год войны родители привезли с Волги. Яшка — немец, и война с немцами, потому его не любили и частенько бивали ровесники, а Мишкина мама, всякий раз отмывая Яшкины ссадины и примачивая синяки, плакала: «Мишка, пусть рука у тебя отсохнет, если поднимешь ее на немчиков. За что же вы их так, они ведь ни в чем не виноваты!» — «Мама, дак не я бью, а ребятишки». Потом их стали бить вместе.

Михаил Прохорович глянул через тын, оценил объект и повернулся уходить. Галина Ивановна догнала его вопросом:

— Ты видел?

— Видел, ну и что?

— А то, что теплицу изладил Кауц.

— И что из того?

— Вот бестолковый! А то, что среди лета будут красные помидоры вкушать. Это же теплица!

Михаил Прохорович терпеливо выслушал и лениво спросил:

— Ты меня-то зачем от дела оторвала?

Галина Ивановна возмутилась:

— Подумать только! От дела я его оторвала! Он на дощечку любовался, а я его оторвала. Позвала тебя, чтобы ты такую же теплицу изладил, как и Кауц.

Михаил Прохорович помолчал, потом ответил:

— На вас с Яшкой удержу нет. Ему завтра в голову взбредет Байконур в огороде организовать, ты и меня обяжешь ракеты выстругивать? А насчет красных помидоров вы оба с Яшкой ошиблись. Запомни: ты живешь в стране вечнозеленых помидор, и что бы там Яшка ни строил, помидоры наши будут вызревать в старых пимах на полатах. Все, про Байконур больше ни слова.

Галина Ивановна сильно на него обиделась и весь вечер не разговаривала, утром подняла с постели и отправила на огород за луком.

В дочке своей единственной Михаил Прохорович души не чаял, никого у него не было больше, потому сильно за нее переживал. Замуж вышла она по глупости, так считал; привезла еще из медучилица прыщеватого верзилу, сына с ним нажили: муженек ни с того, ни с сего силу стал набирать, власти потребовал; до того дошел, что однажды заявил тестю, что тот плохо о дочери заботится. Так и сказал, что вы теперь уже старые и вам ничего не надо, стало быть, всю пенсию надо отдавать дочери; ну, ему, стало быть, так надо понимать. Михаил Прохорович не сильно удивился наглости, к тому все шло последнее время; он встал над столом (в застолье дело было) и поднес к самому носу зятя здоровенную фигу. Тем она была убедительна, что еще в молодые неосторожные годы рассек начинающий плотник большой палец, тот расшاپерился, заматерел и теперь, просунутый между своими собратьями, был вызывающе безобразен.

Танюха была девчонка толковая, в школе на пятерки училась, все детство кукол лечила, потом вечерами в райцентр ездила, санитаркой

работала в больнице. Зарплату ей не платили, но домой привозили на машине «скорой помощи», она гордилась. Михаил Прохорович губу раскатал, что дочка врачом станет, их с матерью в старости поддерживать будет, но времена изменились: в институт поступить невозможно, дали на район три места — сынок главного врача и еще кто-то из деток при руководстве возжелали, им дали бумаги, а с Танькой и разговаривать не захотели. Так она оказалась в училище, теперь вот ездит на «скорой», укол ставит да упреки выслушивает, что нужных ампул нету.

Крадчи от супруги Михаил Прохорович предлагал дочери отправить обратно в город своего долговязого, видел он, что Артур, сын Якова Андреевича, всегда у забора долговязого, торчит, когда Татьяна приезжает, раз даже намякнул ему насчет этого, и парень признался, что жалеет, не сразу заметил соседку, все мелкой считал. «А как бы она свободной была?» — «Сразу бы в ноги пал». — «А дите?» — «Ребенка я уж сейчас люблю». Вот и подивись на жизнь — а парень он славный, трезвый и работающий, на «камазе» арендованном грузы по России возит, при деньгах. И аккуратный, всегда чистенький, одно слово — немец. Сказал ей об этом и открылся так же, что давно заметил: не особо дочь чтит своего муженька. Татьяна от такого предложения всплакнула только, да еще сказала, что нюхач папаня, ничего от него не скроется. На том и остановились.

К вечеру того же дня приехала Татьяна; муженек так и остался в машине, внук к деду в мастерскую забрался. И тут слышно было, что супруга призвала дочь в союзники:

— Танька, внуши отцу, чтобы он языком не блавостил, ей-богу, доведет до беды! Про Ленку утрось сказанул, что опять аборт сделала. Дак ладно — дома, он и на людях может брякнуть, вот пойдет корову встречать и не вернется, на суд выловят.

Татьяна хохотнула:

— Ну, папаня, нюхач старый! Мама, только ты никому не говори, Ленка в самом деле вчера в больнице ночевала. Только ты никому не говори. Нехорошо это...

ДЯДЯ ФЕДЯ, ТЕТЯ ТАНЯ

На новом месте назначения дали мне с семьей квартирку скромную, можно даже сказать — бедненькую дали квартирку: домик на две комнаты в отдаленном, почти деревенском уголке районного центра. Сказали, что временно. Домик до нас пустовал, потому заехали сразу, сгрузив свой невзрачный скарб на узенькой ограде: жена решила побелить стены и покрасить полы.

Я отворил покосившуюся калитку огорода и ступил на зеленый ковер сорной травы: без хозяина и дом, и огород сирота. Зато соседний участок вызывающе выглядел: буйный картофель достигал высоты изгороди, на меже распласталась зеленые с прожилками листья, а сами тыквы частью свалились с межи и мирно покоились прямо на земле, частью свисали с жердей изгороди на толстых жилах ботвы. Три ряда помидоров тоже не отстали в росте, а плоды терялись в листве и только изредка высывались зелеными пупырышками. Но краше всего выглядели две высокие огуречные гряды, такие в наших краях складывают из скопившегося за зиму навоза, с наступлением тепла он начинает согреваться и подпитывает спасительным теплом слабенькие стебельки огуречной рассады. Гряды пропрели и осели за лето, но и сейчас, в середине июля, выгляде-

ли вкрутилось. По покатым бокам их сползали крупные огурцы, начинающие желтеть. Огромные шляпы подсолнухов у дальней межи грустно опустили головы и ждали созревания; веселые воробьи, как акробаты, свисали с полей шляп и ловко воровали из ячеек еще молочные семечки. Все было зелено и радостно.

С соседями своими я познакомился в тот же вечер, потому что надо было заносить в дом громоздкие вещи, и тут без помощников не обойтись. В ограде встретила пожилая женщина, довольно небрежно одетая: грязный халат, в каких обычно работают уборщицы в учреждениях, был заношен до крайности и неуклюже топорщился, столь же несвежая косынка повязана на бок, отчего хозяйка казалась забиякой, на ногах рваные опорки резиновых сапог. Она несла подойник с парным молоком, его белизна нелепо смотрелась на фоне затрапезной доярки. Поздоровался, объяснил, что сосед; спросил, есть ли в доме мужчина, нужна помощь.

— Муж ваш дома?

— Муж — обьелся груш. Дома, где ж ему быть? Федя — брат медведя! Иди сюда!

Из дверей рубленых сеней, у нас их называют сенками, вышел крепкий кряжистый мужичок, сразу подал мне руку:

— Вижу, что новоселы. Пошли, подмогну.

Мы управились довольно быстро, за это время я узнал, что жену его зовут Татьяна Аверьяновна, сам он приезжий, сошлись три года назад.

— Ты ее бабкой Таней зови, она любит. Да и на пенсии, все равно бабушка.

Бабка Таня просунулась в открытое окно:

— Айдайте к нам ужинать, хозяйка когда еще наготовит.

На столе большая сковорода жареной картошки, нарезаны уже знакомые мне огурцы, молоко в банке и чайник. Чайник оказался с сюрпризом: бабка Таня ловко налила всем по стакану мутноватой бражки и провозгласила тост за новых соседей, чтобы нам в дружбе жилось.

Дружить с бабкой Таней оказалось непросто: как только я выходил на крыльцо, она открывала окно и кричала:

— Иди сюда, милай мой!

Если не смог отнекаться и заходил, бабка Таня наливала по стакану браги, мы выпивали, я заедал недобродившую еще жидкость огурцом или луковым пером. Отказываться было бесполезно, потому всячески избегал посещений. Федор это не одобрял:

— Ты заходи, мне одному бабка не нальет, когда сама вдруг не потреблят.

Вечерами соседи носили ведрами воду из колонки на огород, щедро заливая все, что посажено в огороде. Похоже, бабку Таню не особенно интересовали результаты своей работы, а больше нравился процесс, но активность этих людей удивляла. Со временем примирился, что бабка Таня частенько пьяненькая, чем и Федор не всегда доволен. Он был хороший плотник, раньше гнул полозья для саней и конские дуги, потом спора не стало, баловался всякой мелочью.

Прожили зиму. Весной по предложению соседей я натаскал вилами большую кучу навоза и сложил гряду, огурцы быстро пошли в рост, чему немало способствовала очень теплая погода. У соседского плетня высились две большие гряды, которые дед и бабка каждый вечер заливали водой из колонки. Скоро над грядами поднялась буйная зелень, и бабка Таня позвала меня:

— Глянь, миленькай мой, не пойму, кто растет, только не огурцы, это уж точно. Я же, дорогой мой, — агроном, курсы кончала, в эмтээсе робила. Глянь.

На грядках росли тыквы, точно такие жена посадила по краю картофельного огорода, но наши значительно отставали в росте, а эти на навозном тепле нежились.

Бабка Таня так и села на грядку:

— Вот дура — в лес подула, голы веники ломать! В той коробочке у меня и тыквенные семена были, и огуречные. Тыфу ты, прости господи!

Встала, наклонилась ко мне:

— Как садила — не помню, мы в тот день с дедом картошку сдали, обмыли. И вот, пожалуйста! Мичуринец хренов! Только ты никому не сказывай, засмеют.

Как-то вечером соседка окликнула меня через плетень:

— Ты, миленькай мой, не отвезешь нас с дедом утричком на покос?

Я согласился. Утром загрузили в мой «уазик» грабли и вилы, сумку и ведро. Дед Федор сел рядом и показывал дорогу, то и дело уточняя:

— Сюда поверни... Вот тут направо... Тормозни, вон ямка.

Странно, но меня это штурманское поведение деда не раздражало, а веселило.

— Сенов-то много надо ставить?

Бабка Таня оживилась:

— Да дивненько, миленькай, дивно. Корова — жрать здорова, потом бычок, худ, как сверчок, телочка нынешняя, да овечки. Но — накосим, уж половину накосили, нынче бы собрать.

Дед указал на березовый колочек, куда надо подъехать. Пока разгрузались, я зашел в лесок, ущипнул присохшую клубничку, пропустил между пальцами веточку костянки и порадовался терпкому кисленькому удовольствию. Пошел было дальше, но бабкин окрик остановил:

— Милай, подь сюда скорей!

Бабка Таня стояла на коленях и, наклонившись, что-то бережно перебирала, любуясь и приговаривая:

— Да миленькие вы мои, да хорошинские, да в кого такие уродились-то!

Ненужные уже грабельцы лежали тут же, легонький валочек подсохшей травы откинут, а под ним на влажной подушке лесного покоса в рядочек выстроились маленькие крепкие грузочки. Я руками осторожненько отгребал подбывавшую траву и сламывал фарфоровые грузочки. Вспомнился отец с его постоянным наказом «собирать грузди не больше свиной бирьки». И дед Федор присоединился к нашему пиршеству, скоро весь покос проползли и собрали два бабкиных платка.

— Вези домой, пусть хозяйка вымочит и засолит, а мы начнем, уж ободняло.

Я только вернулся с работы, бабка Таня ждала у окна:

— Забирай своих, и к нам, свежую картошку пробовать.

Наверно, это повелось с голодных лет, когда в крестьянском хозяйстве не только хлеба — картошки не хватало до нового урожая, потому свежую, молодую картошку ждали. Ее не копали, разворотив все гнездо, как делают осенью: гнездо аккуратно подкапывали, отец, помню, руками подрывал рыхлый чернозем, нащупывал самую крупную картофелину и осторожно отщипывал ее от корневища. Такую картошку варили в мундире или счищали тонкую кожуру тыльной стороной ножа.

Бабка Таня вывалила на блюдо чужую картошки, сваренной на таганке в ограде, она припахивала дымком, кожура полопалась, разварившийся крахмал выпирал из разломов. Дед Федор налил по стакану браги:

— Ну, ребята, как говорят цыганы: «Картошка присхандыла, мокрым чаем припием, и пчалыгу традыем». Не спрашивай, переводов не знаю.

Я не стал пить, чтобы не портить праздник. Чуть остывшую картофелину разломил пополам, круто посолил и, обжигаясь, прикусывал, осторожно разминал языком во рту, глотая горячую и приятную кашицу.

Когда уходили, заметил в ведре, приготовленном для поросенка, пригоршню мелкой картошки. Точно, они не подкапывают.

— А зачем? — удивилась бабка Таня. — У нас ее без малого гектар. Вот копать начнем осенью — только шур да бар, огонь да вода! Успеть прибрать, а то хизнет.

Я понял, что пропасть может.

Мои друзья, приехав в гости, домишко мой забраковали, через неделю привезли две машины бруса: строй! Нанял троих мужиков, залили фундамент, выложили стены. Под стройку ушла часть огорода. Деньги быстро кончились, а осенью начальство предложило благоустроенную трехкомнатную квартиру с условием, что и домик, и стройку сдам властям. Надо было принимать решение. Вечером рассказал соседям.

— Ну, и что ты надумал? — Бабка Таня была явно заинтригована.

— Ума не дам. На будущее лето можно дом достроить, улочка у нас тихая, огород, ягодник, можно поросеночка держать. Все-таки на земле.

— Правильно, милай ты мой! Ты погляди, красота-то какая! И тихо, и чисто, и соседи хорошие. Откажись, достраивай и обзаводись!

— С другой стороны — благоустроенная квартира: за водой бегать не надо, дров не надо, туалет посреди квартиры. Никаких забот, пришел с работы, включил телевизор — и на диван.

— Правильно! На хрена тебе грязь да мухота! всю жизнь в говне копаться! То ли дело — открыл крантик — водичка, тавалет — только дерни за веревочку. Переходи и не думай!

Дед Федор хохотал от души:

— Ну, бабка, признавайся, ты за белых аль за красных? И куда теперь ему с твоим советом?

Через неделю я получил ордер и переехал в новый дом. Со стариками изредка общался, не переставая удивляться их оптимизму и жизнелюбию. Впрочем, они едва ли свою жизнь так понимали. Дед Федор умер первым, через месяц похоронили бабку Таню. Я жил уже в другом районе, приехал, постоял у могил с простыми деревянными крестами. Было светло и грустно.

